



А. М. ФОКИН

Отвага научной мысли

Мне пришлось общаться с Владимиром Ивановичем в течение тридцати с лишним лет (с перерывами на время его продолжительных поездок за границу). На первых порах, вследствие свойственной тогдашней моей молодости оппозиции к авторитетам, я пытался противиться его влиянию. Нередко, слушая его беседу с другими, тоже часто выдающимися людьми, по невнимательности и недостатку знаний мне случалось упускать нить тонкого доказательства и не охватывать широких горизонтов, которые он очерчивал. Годы шли, и со страниц трудов Владимира Ивановича в ушах моих звучит его голос и каким-то подсознательным усилием памяти восстанавливается его непонятая в свое время устная речь.

Мои встречи с ним и временами проживание под одной кровлей происходили на академической квартире на Васильевском острове в Ленинграде, в особняке Любоцинских на Зубовском бульваре в Москве и, наконец, в полученной Владимиром Ивановичем квартире после переезда Академии наук в Москву.

Вернадский был выше среднего роста. Осенью 1910 года, когда я его в первый раз увидел, — со свежим молодым лицом при рано поседевшей, окладистой, как тогда носили, бороде. Обращали на себя внимание его синие глаза, прикрытые очками, проникновенно-вдумчивые и благожелательно-спокойные. На них никогда не находило облако дурного настроения, как и была им чужда раздражительность. Вывести его из равновесия казалось невозможным, потому что он был слишком внутренне занят и владение собой органически вытекало из сущности его натуры. С годами он пополнил, но лицо его неизменно оставалось сухощавым и одухотворенным, в обрамлении совсем побелевших волос.

С последних фото на нас смотрит его лицо с отросшими пышными волосами и большой бородой — вероятно, результат отсутствия неусыпной заботы скончавшейся в Боровом жены его, Натальи Егоровны.

В возрасте 50, 60, 70 лет Вернадский был очень бодр. Движения его были легки и быстры при негнувшемся стане — он скоро и порывисто передвигал свою прямую фигуру и даже мало сгибался, садясь в качалку. Голос у него был высокий, с переходом на глуховатые ноты, с мягким произношением гласных, свойственным его беспримесному украинскому происхождению и непрерывавшимся связям с Украиной. Лекции его я не слышал, а доклады он читал просто, словно разговаривал, всматриваясь в глаза слушателей не одного первого ряда, но более задних, слегка оборачиваясь к аудитории, когда писал мелом на доске. При этом он, как бы про себя, застенчиво улыбался и, делая выводы, никогда не повышал ровного голоса, а лишь поднимал свои седые брови на морщившийся лоб выше очков.

В безукоризненно аккуратной, но непритязательной его одежде и в свободно повязанных галстуках чувствовались вкус и независимость. Держался он в любом обществе с уверенным достоинством, зиждившемся на вдумчивой справедливости и на принципиальном уважении к собеседнику. В отношении к власти имущим он вел себя независимо — не из личной гордости, а просто потому, что по цельности своей настроенной на высокий лад природы не мог быть иным. Поэтому он не стеснялся иной раз выходить за рамки казенного ритуала.

Зимой 1921/22 года Вернадский хлопотал о выезде с семьей на продолжительный срок за границу. Приехав по этому поводу из Петрограда в Москву, он оказался в приемной председателя ВЦИК М. И. Калинина. Там была очередь, потом М. И. Калинин был чем-то занят, и впуск посетителей в кабинет был временно прекращен. Тогда Вернадский встал — это было во времена, когда в неотопливаемых приемных сидели не раздеваясь, — и начал колотить в дверь кабинета тростью. Произошел переполох. М. И. Калинин его принял, ничуть не обидевшись, и удовлетворил его просьбу.

По памяти личного знакомства решусь утверждать, что искушений изменить своему долгу у него не было, он неизменно оказывался выше их, притом без борьбы и всякого намека на браваду или самовыпячивание. Очевидно, он принадлежал к тем, кто слишком внутренне занят, и удовлетворение от свершенного для него неизмеримо превышало все житейские радости.

Первое искушение едва ли не любого человека на его жизненном пути — стремление ко всякого рода материальным благам.

Вернадский располагал очень небольшими личными средствами. После безвременной смерти старшего брата¹ ему досталось в Моршанском уезде Тамбовской губернии имение в несколько сот десятин неплодородной песчаной земли. Для превращения его в доходное требовалось вложение капитала, которого у Вернадского не было, и, кроме того, личное участие в организации хозяйства, к чему у него не было ни охоты, ни времени.

Наталья Егоровна, жена Владимира Ивановича, получила от отца² приданое — 15 000 рублей из пожалованной ему аренды за расследование дела поставщиков на армию «Горвица и компании» в годы войны с Турцией. Годовой бюджет профессора не превышал 6—8 тысяч рублей, и им Вернадский вполне удовлетворялся, живя — сравнительно с людьми его круга — скромно, хотя, разумеется, безбедно в чисто бытовом смысле слова.

В 1917 году у Вернадских было двое детей — сын Георгий (р. 1887 г.), избравший специальностью русскую историю и блестяще защитивший магистерскую диссертацию «Русское масонство в XVIII веке», и дочь Нина (р. 1898 г.). Ни о каком наследстве для них Вернадский не думал, кроме обеспечения им прочного положения в мыслящих верхах русской интеллигенции, невозбранно общавшейся с интеллигенцией передовых европейских стран — мировым отечеством научных идей. Эта сторона жизни абсолютно довлела над материальной, считавшейся малозначащей, неинтересной.

Участие Вернадского, как и его единомышленников, в земской деятельности не преследовало личных целей, а вызывалось стремлением — как это тогда называлось — к службе народу в виде повышения благосостояния бедствовавшего крестьянства, а также борьбой с абсолютизмом за представительные учреждения. Так как земство являлось цензовым самоуправлением, в качестве ценза Вернадскому послужило имение в Моршанском уезде. Пользуясь очень большим влиянием в общественных делах, он не любил выдвигаться вперед и даже избегал популярности, ценя выше всего самостоятельность и тем резервируя для себя полную независимость.

Второе искушение — карьера. Тому кругу русской интеллигенции, к которому принадлежал В. И. Вернадский, вообще было присуще пренебрежение к чинам, званиям и другим знакам отличия. Как заслуженный профессор, Вернадский рано полу-

чил генеральский чин действительного статского советника, остававшийся только в сугобо официальных документах. Никто из знакомых на конвертах писем не титуловал Вернадского «Превосходительством». Никто не знал, были ли и какие именно у него ордена, хотя, безусловно, их попросту не могло не быть — хотя бы просто по выслуге лет. Он не придавал им никакого значения. Пристрастие к чинам и званиям Вернадский считал чертой, занесенной к нам немцами, которых, начиная со времен Петра I, немало развелось на русской службе. Ученый, заслуживающий этого имени, по его мнению, должен был иметь свое научное лицо, которое не выигрывало от прибавления к нему — «академик», «доктор», «профессор»: ведь великий Менделеев, например, не был академиком. С иронией Вернадский смотрел на подобные прибавления к фамилиям авторов на книгах. В старой, «мундирной» России трудно представить себе Вернадского, Сеченова или Тимирязева и других ученых подобного склада в мундирах с орденами. Они с достоинством носили обычные штатские сюртуки или пиджаки, не стремясь чем-либо внешне выделяться.

Третье искушение, неразрывно связанное с двумя вышеохарактеризованными, — небескорыстное подобострастие к стоящим выше на социальной лестнице. И здесь Вернадский был безупречен. Он никогда ни перед кем не сгибал шеи. Состоя членом Государственного совета по академической курии (выборным от Академии и университетов), — он смотрел на вершителей судеб старой России со спокойным любопытством естествоиспытателя. Никаких пьедесталов он не признавал, как и сам не старался вскарабкаться на пьедестал. Времена изменились, и он перенес такое же отношение на новых власть имущих. Делами Академии одно время ведали Молотов и Каганович — к первому он относился с уважением, считая его государственным человеком, ко второму пренебрежительно.

В те времена многим людям было свойственно доставшееся в наследие минувших эпох суженное и недейственное правосознание. Этим грешили и представители интеллигенции. Вернадский считал себя обязанным защищать свои права, — но не из личной амбиции, а по чувству гражданского долга, по велению общественной совести. В свое время он выступал непреклонным защитником университетской автономии и возглавлял группу профессоров и преподавателей Московского университета, подавших в отставку в знак протеста против произвола министра Кассо. Свою точку зрения на этот шаг он изложил в газетных статьях. Или еще один пример: в конце 20-х годов

ему было разрешено получать английскую газету «Таймс», которую, однако, доставляли ему с пропусками. Не торопясь и не теряя самообладания, он добился восстановления своих прав.

В тяжелые годы предвоенного произвола и репрессий, когда один за другим бесследно исчезали его друзья и ученики, Вернадский подал в Президиум Академии наук протестующую записку. Ее вернули, указав, что она может произвести обратное действие. Примириться с вынужденным отступлением стоило Вернадскому большого труда, и нанесенная ему душевная травма так никогда и не зажила. Он не мог себе простить, что не действовал до конца согласно своим убеждениям. К этому же времени относятся его неустанные самоотверженные хлопоты за пострадавших учеников и лично знакомых ему людей, связанных с наукой³. <...>

Попыткам оказать извне давление на его мысль он мог только удивляться. Я не представляю себе его раздраженным и тем более разгневанным. Не торопясь делать заключение, он развивал свою мысль до конца, без малодушного умалчивания и остановок на полдороге. Почвой, на которой он незыблемо стоял, была интеллектуальная преемственность с идеями, переходившими от одного народа к другому, из поколения в поколение. Насилие им принципиально отвергалось. В отношении якобинцев он повторял укор Марии Кюри: «А они казнили Лавуазье». Приводились примеры из современности. Особенно потрясла Вернадского судьба Н. И. Вавилова.

К Вернадскому неприменимо представление о служении науке как некоем внешнем элементе в человеческой жизни. Его отношение к науке было полной самоотдачей. С другой стороны, неправильно было бы представление о нем как о погруженном только в свои исследования ученом, мимо которого несетя жизнь, лично его не затрагивая. Такое отношение не вязалось с основной его идеей, которую можно сформулировать как очеловечивание науки и онаучивание жизни. Вернадский был человеком своего времени.

Он, со свойственной ему решительностью, когда, по его мнению, это требовалось, выходил из лаборатории и уютного рабочего кабинета с тесным кругом друзей на более широкую арену — писал статьи в газетах, поднимался на трибуну законодательных учреждений и политических съездов, даже садился за стол в министерском кабинете. Смелость научной мысли у него соединялась с высоким сознанием человеческого и гражданского достоинства. Без первого нельзя быть ученым, так как наука

требует всегда и во всем нелицеприятной правды, без второго нельзя быть авторитетным учителем молодежи.

Вернадский в течение долгих лет примыкал к русским либералам, являлся одним из руководителей московской газеты «Русские ведомости», состоял бессменным членом центрального комитета Конституционно-демократической (кадетской) партии, членом Государственного совета по выборам от Академии наук и от университетов⁴ и, наконец, товарищем министра народного просвещения во Временном правительстве. Таковы внешние данные, требующие пояснения. Пора взглянуть на прошлое с достойным спокойствием, а не через призму злободневных политических памфлетов, отрешиться от гипноза фронтов гражданской войны. <...>

В общественном поведении Вернадского отвага научной мысли неотделима от принципиальной стойкости и гражданского мужества. Карьеризм, низкопоклонство, корысть и прочие компромиссы с юности и до конца его дней были ему чужды. Среди многих способных людей в ближайшем окружении Вернадского, некоторые, притом одаренные, не выдерживали искусства. Не всегда порывая с такого рода людьми знакомство, он переставал возлагать на них какие-либо надежды. И как бы исключал из того мира, в котором жил сам, — мира идей во всеобъемлющем, всечеловеческом значении этого слова.

Всем нам известна фатальная необратимость потерянного времени. Владимир Иванович являл собой пример обдуманного использования каждого часа с одновременным охватом жизненных перспектив в целом. Наряду с врожденным инстинктом времени он путем долгой практики научился целесообразно рассчитывать время и силы, сделавшись с годами наиболее экономным хозяином того и другого.

Начинался этот жизненный распорядок с распределенного по часам режима рабочего дня, соблюдавшегося с неукоснительной точностью.

...7 часов утра. Нева и прямые линии Васильевского острова утопают в тумане, пронизанном желто-белыми бликами фонарей. Под окнами царапает тротуар скребок дворника, счищающего снег. В это время делает свою первую прогулку Иван Петрович Павлов, скоро спустится по лестнице с желтыми перилами и полосатым ковром, прикрепленным сияющими медными прутьями, небольшая широкая фигура в черном пальто до пят — это академик Франц Юльевич Левинсон-Лессинг, по специальности геолог. Они ближайшие соседи в старинном академическом доме: Павлов живет на той же площадке второго этажа, напротив, в высоком первом этаже, Левинсон-Лессинг.

Владимир Иванович встал и не спеша завтракает в длинной столовой. Ровно в 8 часов он удаляется в свой большой кабинет и начинает заниматься.

На письменном столе разложены стопками новые книги — каждая стопка отвечает проблеме, которая в данный момент находится в поле его внимания. Проблем всегда несколько, возникающих в процессе неустанного развития многосторонней личности ученого. Взаимная связь между предметами исследования не всегда улавливается, но неизменно существует, определяясь изумительно верной интуицией.

Ознакомление с книгами благодаря опытности в обращении и твердой целеустремленности научных интересов Владимира Ивановича делалось с большой быстротой. Он оставлял пометки карандашом — очень слабые и тонким почерком, чтобы легко можно было их стереть резинкой, и брал из готовой пачки обрезки и листы белой бумаги, надписывая наверху номер страницы. Перед ним лежали листки бумаги, на которых он уже чернилами самопишущей ручкой заносил выписки и свои замечания — скелет будущей работы. Так набрасывались целые страницы, собиравшиеся в картон.

Работа была чрезвычайно напряженной. В эти утренние часы, со свежей головой, Владимир Иванович формулировал положения, которые у него складывались и обдумывались в течение дня.

Покой творческих часов строго оберегался: к телефону в передней Владимира Ивановича вызывали только в случаях крайней важности, почту не вносили в кабинет, у двери в него проходили на носках и разговаривали шепотом — громкоголосый посетитель отвлекался в дальний конец передней.

Сам Владимир Иванович вдруг выходил скорыми шагами из кабинета, брал телефонную трубку и в коротких словах требовал у своих сотрудников в лабораториях данные, которые ему были нужны для создаваемой работы.

Стены кабинета были уставлены высокими книжными полками. Книги были распределены по старинному десятичному систематическому порядку, к которому Владимир Иванович привык, и пользовался библиотекой, не прерывая хода мыслей, — полки являлись продолжением письменного стола, и рука сама брала нужную книгу.

Сильное возбуждение ума вызывало необходимость в отдыхе — Владимир Иванович пересаживался на несколько минут в кресло-качалку с плетеными спинкой и сиденьем.

Так Владимир Иванович работал до 12 часов. В это время подавали почту и входили в кабинет один-два из ближайших

сотрудников. Беседа с ними заканчивалась за завтраком в столовой. К завтраку также приглашались знакомые и незнакомые люди, имевшие дело к Владимиру Ивановичу. Обычно, кроме семьи, за столом сидело пять-шесть посторонних.

После завтрака Владимир Иванович уходил отдохнуть на полчаса. Во время отдыха он лежа просматривал свежую книжку легкого журнала, преимущественно французского, чтобы не отрываться от зарубежной жизни, на которую он любил смотреть через «окна Парижа».

Отдохнув, Владимир Иванович одевался, садился в автомобиль и посещал лабораторию, в которой разрабатывались руководимые им проблемы. Он внимательно и терпеливо выслушивал своих сотрудников порознь и соединяя их вместе и лично знакомился с результатами и методикой работы. Иногда в эти часы устраивались короткие заседания, на которых Владимир Иванович больше слушал и мнение свое высказывал только в конце.

В 6 часов Владимир Иванович приезжал домой, нередко в сопровождении кого-либо из сотрудников, и в 6 часов 30 минут выходил в столовую к обеду. За обеденным столом, тоже по старомосковскому обычаю (старый Петербург держался на этот счет других правил), кроме семьи, обычно сидели гости. В беседе за обедом Владимир Иванович предпочитал либо научные темы, но не по тем областям, которые сам разрабатывал, а по более общим проблемам, в частности по гуманитарным наукам. Но нередко разговор переходил и на художественную литературу.

После обеда наступал «мертвый» час, сменявшийся часом облегченной работы в кабинете, нередко с участием посторонних, и даже иногда заключавшийся в оживленной научной беседе с каким-нибудь приезжим ученым. В 9 часов Владимир Иванович с гостем выходил в столовую к чаю. Приноравливаясь к пониманию родных и знакомых, не в полной мере или вовсе не причастных к науке, беседа принимала непринужденный характер, что не мешало Владимиру Ивановичу пытливо-острым взглядом всматриваться в приезжего, знакомиться с ним с новой стороны и порой решать вопрос о возможном сотрудничестве.

Ровно в 10 часов 30 минут все вставали из-за стола и дом погружался в полный покой, не нарушавшийся даже телефонными звонками.

Дорожа временем, Владимир Иванович заботливо и бережно относился к рабочему режиму. Соблюдение этого режима ло-

жилося во многом на плечи его жены, являвшейся как бы тем самым тылом, где куется победа на фронтах. Наталья Егоровна, чутко и глубоко его понимавшая и в то же время прекрасная хозяйка, умела окружить его заботой и уютом. Простой и поделовому размеренный обиход дома она вела с удивительным тактом и даже талантом, создавая Владимиру Ивановичу все удобства в работе и обстановку для физического и морального отдыха.

Наталья Егоровна была неутомимой помощницей мужа в его занятиях и являлась хранительницей его кабинета, где все стояло и лежало на своем месте, как приборы в образцовой лаборатории. Пока на самом рубеже прошлого и нашего столетий не вошла в обиход ученых пишущая машинка, она тщательно переписывала его рукописи со всеми сложными формулами. Превосходно владея литературным французским языком, она редактировала его лекции в Сорбонне и статьи. Через ее руки прошло первое заграничное издание «Геохимии»⁵. <...>

И ученики, и все причастные к научной работе и ее интересам становились просто, без всяких лишних слов, друзьями Владимира Ивановича и радушно вводились в его домашний круг. Гостю, особенно молодому, бывало приятно, что хозяева им интересовались и расспрашивали обо всем к нему относящемся — у каждого в таких случаях развязывался язык. Владимир Иванович внимательно слушал, поглядывая на говорившего с добродушной улыбкой. Происходило это на Васильевском острове в длинной столовой, куда вела дверь непосредственно из передней. До революции расположение комнат был иным, потому что большая квартира занималась одним академиком, а не была разделена на две⁶. С хозяевами сидела за столом, даже когда это не было принято, верная служанка Прасковья Кирилловна, прожившая в доме не менее 50 лет. Она знала потребности и привычки всех, и о ней хозяева внимательно заботились, она сделалась членом семьи. <...>

Очень глубокими и серьезными были сомнения, охватившие Вернадского в первые годы революции. Предстояло решить вопрос, где он должен продолжать свою научную деятельность, которая приобретала радовавший и одновременно смущавший его размах. Времени для завершения начатых исследований, по всегда трезвым его расчетам, оставалось в обрез — он часто говорил, что самый продуктивный возраст в жизни ученого — между 50 и 70 годами. С одной стороны, смущали тяжелые впечатления от царившей разрухи. Ужасы гражданской войны он наблюдал своими глазами в Крыму. Научная работа замерла и

неизвестно — на какой срок. Немало ученых погибло, а иные оказались деморализованными. Материальная база и кадры для широких исследований, казалось, отсутствовали. Отсюда напрашивался вывод, что надо уезжать туда, где интересуются наукой и для развития ее имеются необходимые средства.

Часть близких укрепились на этих позициях, и в числе их родные дети, оказавшиеся в эмиграции, — сын Георгий, историк, занявший кафедру в Йельском университете, и дочь Нина, врач-психиатр, вышедшая замуж за археолога Николая Петровича Толля. Дети изо всех сил тянули родителей к себе.

С другой стороны, раздавались настойчивые уговоры близкого друга С. Ф. Ольденбурга и любимого ученика А. Е. Ферсмана, увлеченных задачами реорганизации науки на новых началах с необъятно широкими перспективами, не торопиться в выборе. Они доказывали, что фронтовая молодежь не одичала и охотно сядет за микроскопы и с жадностью уткнется в книги, что это — свежие и многообещающие кадры науки, чуждые отупляющему мещанству и преисполненные энтузиазмом юности. Чтобы подтвердить свои выводы, А. Е. Ферсман свозил Вернадского на Кольский полуостров, где тогда — в основном руками молодых геологов — решалась проблема хибинских апатитов.

Искушенный жизнью ученый решил не сразу. Сначала он воспользовался предоставленной ему возможностью пожить в Западной Европе и там самолично все осмотрел, всех выслушал и... вернулся в старый академический дом с окнами на набережную Невы⁷. На первых порах сдержанно, но потом безраздельно вошел в академическую жизнь и увлекся широкими горизонтами. Периодически совершавшиеся до 1938 года⁸ поездки за границу не поколебали твердо принятого решения. <...

Движимый поисками новых людей для вовлечения их в серьезную научную работу, Владимир Иванович вел обширную переписку с лично ему не знакомыми людьми. Радуюсь новым своим открытиям в этой области не меньше, чем научным открытиям, он охотно делился ими с близкими. Помню, как он был рад, сумев найти где-то в Сибири талантливого геолога из почвоведов Р. С. Ильина. По существу, неважно — искал ли Владимир Иванович людей для науки или, влекомый к людям, строил науку для людей. В обоих случаях он являлся ученым-гуманистом в самом высоком и чистом значении этого понятия. О человечности его свидетельствует его забота об учениках и даже о малознакомых и знакомых только по своим трудам работниках на научном поприще. Будучи далеким от практической жизни, он добросовестно старался вникнуть в ее нужды,

помогая тем, кто попал в беду. Об этом можно было бы написать объемистую книгу...

Несмотря на отвлеченный характер ума большого ученого, создателя новых научных дисциплин, Владимир Иванович обладал изумительной памятью на людей и на их научные интересы. Он мог ошеломить вопросом о забытой самим автором ее научной идее, и спокойно высказанный вопрос его: «Я думал, что вы продвинулись в этом направлении...» или «Тогда вы меня заинтересовали вашей концепцией. Жаль, что вы ее забросили...» — был из тех, которые до конца преследуют нас или вынуждают к реабилитации делом.

Самостоятельные умы бывают ревнивы и обидчивы. Зная это, Владимир Иванович никогда не действовал насилием умственного превосходства, а поступал так, чтобы люди сами усваивали его идеи, и понуждал их высказываться. И следил за их научным ростом.

Это тоже очень редкая и привлекательная черта. Выслушивая чей-либо рассказ о производимой работе или соображение общего порядка, вызвавшее замешательство, он воздерживался от советов, стараясь добиться у собеседника собственного решения: «А что вы сами думаете? Как хотите поступить?» Как это не похоже на докторально-многоречиво поучающих руководителей! Кто из нас не знал академиков и профессоров, произносящих монологи молодым собеседникам, не смеющим проронить ни слова. Владимиру Ивановичу каждый рассказывал о себе и чем занимается, ободряемый его взглядом, кивком головы или словом. Результат был тот, что ум смелел и язык развязывался и после эти же мысли спокойно и уверенно развивались с кафедры на ученом заседании.

В своей вере в лучшее начало в людях, паря на высотах человеческой мысли, Владимир Иванович всю свою жизнь был не запятнан расовыми, социальными и религиозными убеждениями. Наука в его понимании была наукой интернациональной, достоянием всего человечества.

Он думал, что этим путем, в лучах мирового солнца знания, придет на землю мир, опорой которого будет торжество светлого разума. Поездки в чужие страны были ему необходимы, причем горизонты его общения уходили за океаны — во всех странах Европы, во французской Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, в Китае, Японии, в Соединенных Штатах Америки, в государствах Латинской Америки и в Австралии были у него единомышленники и друзья. Его очень интересовал вопрос, как

разная национально-культурная среда возвращает науки и какие приобретения получают последние от участия разных интеллектуально-национальных типов. Он любил рассказывать о рождении научных идей во Франции и Англии, в Италии и в славянских странах. После XVII Международного геологического конгресса он отмечал, как пример миграции национальных научных центров, интересные достижения ученых французской Африки, Индии и Китая.

Я хочу коснуться одной очень важной черты научного творчества Владимира Ивановича, которая остается в тени, заслоняясь результатами его теоретических трудов. Широкая публика, особенно современники его последнего академического периода деятельности, не имеют представления о его тонкой наблюдательности натуралиста. Владимир Иванович с детских лет любил природу и был особенно привязан к родной ему природе Украины, зная лесную полосу Средней России, экскурсировал по горному Крыму, причем до пожилых лет был хорошим ходоком, нередко вспоминая по этому поводу, как из-за пристрастия к пешеходным прогулкам английский генерал, некий Мэрчисон⁹, сделался незаурядным геологом. В начале 20-х годов А. Е. Ферсман повез Владимира Ивановича на Кольский полуостров¹⁰, и он пережил кратковременное увлечение природой Севера.

Об общем облике земного шара он получил представление во время заграничных поездок, среди которых бывали и отдаленные. Нужно признать, что в экспедициях в малоисследованные страны Владимир Иванович не участвовал и, путешествуя за границей и на окраинах нашей страны, главное внимание уделял научным центрам и личному общению с учеными. По-видимому, занятый раскрытием законов мировой жизни в ее незримом преобразовании, он, не отвлекаясь ширью ландшафтов, более следил за микродвижениями земной коры и за неотделимыми от нее организмами. Природа была для него лабораторией, и наблюдение переходило в эксперимент. Поэтому общение с природой больше давалось не дальними путешествиями в разные страны, а переселением на лето из города в делавшийся все более знакомым уголок родной природы, как особенно любимые им места на берегу Псела.

История науки знает таких натуралистов — примером может быть Ньютон, по преданию, открывший закон тяготения, сидя дома под лампой, да и, пожалуй, Дарвин осознал основы происхождения видов не столько путешествуя в молодости на кораба-

ле «Бигль», как гуляя по дорожкам сада своего коттеджа под Лондоном.

Так вырабатывалась удивительная точность описания Владимиром Ивановичем небольших явлений природы в примерах, часто встречающихся в его трудах и изобиловавших в устной речи. Пристальный взгляд Владимира Ивановича переходил от людей к природе и от природы в естественном ее выражении к шлифу под микроскопом, движимый неустанной работой мысли, философски объединявшей все и вся в потоке космических превращений. <...>

